

АРКАДИЙ ЗАСТЫРЕЦ

Я
ПРОСТО
ПУШКИН



Аркадий Застырец Я просто Пушкин

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10244798
ISBN 978-5-4474-1040-7*

Аннотация

«Современный цинизм, а лучше будет – кинизм, или даже неокинизм представляет собой уже развивающуюся и далеко продвинувшуюся в своих разнообразных культурных проявлениях реакцию на предсмертное торжество рационализма и прагматизма. Я причисляю себя к неокиникам. А поскольку считаю романтизм эпохи Пушкина первым сполохом неокинизма, определенная связь здесь налицо».

(А. Застырец)

Содержание

Во глубину сибирских руд	6
Буря мглою	11
Я вас любил	19
Кавказ подо мною	27
Песнь о Вещем Олеге	36
К Чаадаеву	42
Конец ознакомительного фрагмента.	44

**Я просто Пушкин
Эпизоды из жизни
величайшего
гения российской
национальной словесности
Аркадий Застырец**

Фауст

Мне скучно, бес!

Мефистофель

Так низведи

Бессмертья приговор жестокий!

Фауст

Что там белеет впереди?

Мефистофель

Белеет парус одинокий...

(Сцена из «Фауста»)

© Аркадий Застырец, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе

Во глубину сибирских руд

Осенью 1826 года, необыкновенно слякотной и дымной даже для Санкт-Петербурга, Пушкин вступил в свою, напротив, восхитительно светлую и свежую пору. Только что, пробдев полночи, сочинил он одну из, по собственному убеждению, лучших своих стихотворных эпистол и вот мчался теперь по Невскому в Зимний, чтобы показать царю. И это кроме того, что был он теперь без памяти влюблен в старшую дочку известного всей столице своими небезопасными причудами васильеостровского почтмейстера Гончарова – Натали. Она была *charmante terrible*, а Пушкину и во все казалась неземной красоты девицею, сулившей ему в грядущем порочные пучины на законном основании взамен опостылевших холостяцких ночей.

Государь тоже был хорош: после долгих лет упорного воздержания от милостей по отношению к юному стихотворцу, намеренный впал в нескончаемые щедроты, не только заметив, но и буквально обоготворив Пушкина с подачи добрейшего Василия Андреевича. Целыми днями, согласно гулявшим по Питеру слухам, носился по дворцовым и прочим своим покоем и громогласно восторгался то той, то иной пушкинской строчкой, употребляя разнообразные лестные титулы, а третьего дня, уж не по слухам, а запросто в глаза ляпнул Пушкину: «Ты, Сашка, не достоин сам себя! Светишь куда

попало... Просто солнце русской поэзии какое-то!»

Пушкин и теперь, подбегая к кондитерской Розенбаума, не утерпел – зарделся, вспомнив государевы слова... И не сразу заметил Жуковского, отчаянно колотившего шляпой по стеклу изнутри кондитерской. Широко улыбаясь белоснежными зубами, он и его поманил внутрь, указывая перстами другой руки на блюдо с эклерами и чашку горячего шоколада.

– Угощаешь, Василий Андреевич? – недоверчиво воскликнул Пушкин, нависнув над порогом.

– Угощаю, брат, коли есть у тебя что-нибудь новенькое.

– Еще бы нет! – Обрадовался Пушкин и, скинув боливара с крылаткой, верный своей постоянной привычке, взгромоздился на стул. Но замешкался там, добывая в кармане панталон помятый листок с эпистолой.

– Читай же, пока шоколад не остыл! – Подбодрил его лукавый Василий Андреич. И тут же ему вдруг вспомнилось, как на прошлое Рождество подарил он Пушкину свой портрет по случаю проигранной партии в покер. Сам же на свою голову обучил он его этой новомодной картежной забаве, на что и намекнул, подписав портрет: «Победителю-ученику от побежденного учителя», а вслух добавил:

– Это тебе, Саша, вместо денег – в затруднении я теперь.

Сверкнув на портрет горячими арапскими глазами, Пушкин плюнул в сердцах, однако, вчитавшись в подпись, прибрал портретец за пазуху и простодыро ухмыльнулся: приго-

дится, мол!

– «Во глубину сибирских руд», – разнеслось меж тем по кондитерской со стула. – Назидательное послание моему тезке графу Одоевскому под Иркутск и всем, иже с ним.

И полились бессмертные строки...

– Во глубину сибирских руд
Гоните лености истому
И помните, что честный труд
И есть для вас дорога к дому.

Махайте спорою киркой,
Покорную сгибая спину —
И будут мир вам и покой,
Коль соблюдете дисциплину.

Пушкин читал, изрядно возбуждаясь, рука его взвилась над правым ухом, глаза слегка закатились, и на обрамленном кудрявой порослью лице зазолотились капельки праведного пота.

– Без рассуждений о правах
Отчизне пользу приносите —
Ведь спазмы юношеской прыти
Комичны в ваших-то летах.

Марата ль лавры, Робеспьера
Перед зеркалом примерять —

Дурная, в сущности, манера.
Россия – мать вам иль не мать?

Не вняв ни ярости, ни спеси,
Простил вас добрый государь —
Лишь пятерых из вас повесил,
А мог четвертовать, как встарь.

Акститесь, бунтари гневливы!
Примите смиренно цепь и плеть.
Вы царской милостию живы, —
Так не дерзите власти впредь!

Дурным страстям не потакайте
И не решайте за народ:
Он вашей дани не возьмет,
Хоть целый мир ему отдайте.

Смиритесь! Годы пробегут,
Весна настанет, и у входа
Нагая встретит вас свобода
И всем шампанского нальют.

– Хорошо, брат! Ничего не скажешь, – сказал Жуковский и, выдержав эффектную паузу, громко крикнул.

– Да я уж и сам вижу, что недурно! – Вздохнул вдруг Пушкин и понуро съехал задом на стул.

– А что ж ты печалишься, друг мой? – Полюбопытство-

вал Жуковский. — Уверен, что и царю сия эпистола придется по вкусу...

— А то! Я, брат Василий Андреевич, прямиком к нему ведь и собирался, да, видишь ли, вспомнил тут об одном дельце...

— Каком еще дельце? — Изумился Жуковский, с любопытством наостряя мраморное ухо.

— Да ведь Натали меня с утра дожидается на стрелке Васильевского острова, а я свинья эдакая, только что об ней сообразил...

— Это, брат, ничего. Обычная коллизия — от столкновения личных чувств с общественным долгом.

— Что же делать, Василий Андреевич? — Чуть не заплакал Пушкин.

— А я на что? — Молодцевато подмигнул ему Жуковский и выхватил листок с эпистолой из авторских рук. — Ступай к своей Натали, ни о чем не беспокойся. Отнесу я в Зимний твоё творение.

— Вот спасибо! — Подпрыгнул Пушкин и облобызал Жуковского на живейший манер. — Так я побегу пролетку ловить?

— Беги, беги, мон шер! Уж я ли о твоих интересах не попекусь?

Схватив боливар с крылаткой под мышку, Пушкин поскакал по Невскому эдаким пешим уланом и вскоре, впрыгнув в свободную пролетку, был таков.

Буря мглою

Жуковский же в Зимний что-то не особенно торопился: миновав от кондитерской два квартала, заглянул на почту и провел там не менее часа, разложив на шербатой столешнице пушкинский листок и скрипя пером по другому, только что купленному. Но вовсе не начисто он переписывал эпистолу своего приятеля, ибо крепко не чист был на руку, как впрочем, и все завзятые романтики. К тому же отличался он слабоволием, был завистлив, подловат и отнюдь при этом, заметьте себе, не был славянофилом.

В не слишком возвышенных Жуковского человеческих качествах, в отличие, к примеру, от Грибоедова, убедился бы всякий, когда бы ему довелось оказаться свидетелем встречи с царем, последовавшей все же вскоре и описанной ниже.

Царь вышел к Жуковскому в бодром состоянии и готов был по-свойски обнять поэта, однако тот согнулся в рабские три погибели, так что даже сюртук на нем затрещал.

– Полно тебе лебезить, Базиль! – воскликнул государь снисходительно и отер о лайковые рейтузы обслонявленную Жуковским перчатку. – Надо что ли чего? Или так, поболтать заглянул?

– Не извольте гневаться, ваше императорское, мимо шел, да и дай, думаю, зайду засвидетельствовать и прочее, – пробормотал Жуковский, не подымая глаз от шикарной половой

инкрустации.

– Полно, полно, что ты, в самом деле, как чужой! Корчишь из себя Сперанского какого-то... Садись давай, чаи погоняем.

– Да я только от Розенбаума, ваше императорское... Сами знаете, шеколадом с эклерами обожравшись, – подобострастно замахав руками, возопил Жуковский.

– Ладно не бойся, что я, по-твоему, насильник какой? Не хочешь чаю – давай по трубочке высуслим. Табак – отменный, у турка краденный!

– Не смею возразить, ваше императорское, я для вашего удовольствия не то что трубочку, а хоть и тюк целый прокурить готов...

– Еще чего! – захохотал государь. – Тюк ему подавай! Вот то-то, все вы, литераторы, народ, на дармовшинку падкий! Ну, да ладно, тюк не тюк, а по трубочке – так и быть.

Тут он легонько шлепнул в ладоши, и в бесшумно распахнувшиеся двери впорхнула семеня, смазливая турчанка в шальварах и с яхонтом в пупке. На руках у нее был изящный поднос, а на подносе – два курительных прибора невероятной красоты.

Раскинувшись на покой и выпустив из-под пышных усов голубую струйку, государь небрежно кинул Жуковскому, побагровевшему с первой же затяжки:

– Ну, как там наш национальный гений? Сашка-то твой? Пишет чего, или все пунш да бабы?

Жуковский затряс головой и выдавил через силу:

– Пишет, это... Изредка, ваше императорское...

– И что ж? Хорошо ли?

– Не смею судить в вашем ослепительном, – пробулькал Жуковский, не решаясь отложить от себя трубку.

– То есть как не смеешь судить? – вскинул царь нафабранные брови. – Кто ж, если не ты, любезнейший, судить будет? Белинского разве читать прикажешь? Уволь, голубчик! Упаси меня Господи от этих доморощенных гегельянцев!

– Что вы, что вы! – подскочил Василий Андреевич и вновь замахал руками, заодно отгоняя от лица табачную тучу. – Вот оно, последнее-то Сашкино. Не изволите ли, как говорится, лично пробежать...

– Отчего же? Давай, погляжу!

Царь вырвал из его трясущихся пальцев листок с наново переписанной на почте эпистолой и, сдвинув лоб к переносице, проворно сменил трубку на лорнет.

Жуковский, приглядываясь исподлобья за эволюциями по мере чтения государевой физиономии, все более бледнел и кукожился. Когда же царь, скомкав дочитанное в железном кулаке, поднял, наконец, глаза, из них в до смерти напуганного Василия Андреевича метнулся такой пучок зевесовых молний, что он буквально окаменел, и только мокрые студенистые губы отличали его от римских статуй, расставленных в нишах вдоль стен аудиенц-зала.

– Это что? Что за памфлет с диатрибой, я тебя спраши-

ваю! Сам-то ты читал сие несуразное безобразие?

И Жуковский не только убедительно замотал головою, но пролепетал, стуча зубами:

– Что вы, ваше императорское величество, я – не читатель, я, с вашего позволения, писатель, и азбуки-то толком не разбираю...

В этот миг у него из головы вылетело почти все, что он только что сочинил и перенес на бумагу, старательно подделывая пушкинские вензеля. Только и крутилось, что «оковы тяжкие падут, и всем царям придет капут», да вот еще: «Совы ухнут – тюрьмы рухнут».

«Не переборщил ли я? – с ужасом подумал Жуковский. – А ну, как меня самого вместе с Сашкой государевым гневом придавит?»

Но царь по натуре был человеколюбив, отходчив и незлопамятен. Яростно вцепившись в трубку зубами, он глубоко затянулся и молвил в облаке дыма уже совершенно без волнения:

– Поди ты прочь, Базиль. Все настроение мне испортил.

Жуковский вскочил и кинулся к выходу, как ошпаренный. Уже в дверях он услышал раскатившийся под сводами государев рык:

– А Пушкина сыщи, не медля, и хоть волоком – ко мне!

На миг обернувшись в поклоне, Жуковский протявкал нечто подобострастно-утвердительное и кубарем скатился по просторным лестницам к Александрийскому столпу.

«Вот ведь как все в одночасье перевернулось, – горестно размышлял Пушкин, сидя в карете, уносимой резвыми конями на юг. – Был я чуть ли не самым счастливым в столице человеком, и вдруг – на тебе! – сделался жалким идиотом. Всего лишен – и милости царевой, и нежностей премиленькой Натали, и дружеского участия Василия Андреича...»

Ничего он, казалось, не понимал теперь в течении и распорядке собственной жизни – лишь смутно ощущал, что наказан несправедливо, по какому-то архангельскому недосмотру иль человеческого недоразумению. Чем прогневила царя его эпистола? Иль вычитало что-нибудь между строк монаршее бдительное око?

Стоило вспомнить государево лицо, слегка перекошенное яростью, и от холодного пота налипло на спину исподнее.

– Ты что ж это себе позволять стал сметь, Александр Сергеевич? – зловеще вполголоса процедил государь, как только Пушкин примчался давеча в Зимний по приказу запыхавшегося Жуковского. – Ладно, допустим, я тебе не по нраву. Но отчего ж ты иных самодержцев невзлюбил? Чем тебе Луи не хорош? В какой такой мерзости брат мой Вильгельм Оранский тобою замечен? Почто принцессу Августу презираешь? А премудрую Елисавет? А Владимира Красное Солнышко с тезкой твоим Александром Великим?

Пушкин натурально обомлел и поначалу не знал, что от-

вечать.

– Что молчишь? Или не ты бунтовщикам в Сибирь эпистола сочинил?

– Я, государь! – опомнившись, гордо отвечал поэт в своем авторском праве. – И за каждое в оной словечко ответ нести готов!

Подбородок его вздернулся, поломав воротничок, бакенбарды встопорщились, и глаза сверкнули, как воды Занзибара под полуденным солнцем.

– Ах, вот ты как! – вконец разбушевался император. – Ни слезинки, ни тени раскаяния! Дерзишь, как ни в чем не бывало!

– Не в чем раскаиваться, ваше величество! – с нарастающей уверенностью в собственной правоте воскликнул Пушкин. – Как думал, так и написал!

– Как думал? Так вот ты, оказывается, у нас какой! Мыслитель, что ли? Хорошо ж...

Царь умолк ненадолго и, не отрывая выкаченных глаз от поэта, склонился ухом к Бенкендорфу, что-то пробормотавшему под нос едва слышной скороговоркой.

– Молодец, Бенкендорф! – одобрил скороговорку государь и ткнул перстом в направлении пушкинской переносицы. – Раз ты, Александр Сергеевич, в умники записные рвешься, вот тебе задание от Академии наук: тотчас соберайся и с дорожной по казенной надобности езжай в Молдавию, страну вечного лета. Будешь там за нашествием са-

ранчи наблюдать и все свои наблюдения аккуратно записывать.

– Как вашему величеству будет угодно, – не думая даже смиряться и лишь слегка кивнув, отрезал Пушкин, – только я ни в чем не виноват, ни перед вашим величеством, ни перед всею матушкой-Россией!

– А коли выдастся тебе в молдавских степях досуг, помолись от души да о своей вине-то и подумай! – Царь будто и не услышал последних слов поэта.

– Доколе же, государь? – возопил тот громогласно.

– А дотоле, покуда я сам тебе дозволения возвратиться не выдам!

Вымолвив сей приговор, повернулся он на каблуках к Пушкину задом и удалился, чеканя шаг. А следом и Бенкендорф, стараясь в ногу.

Когда карета с Пушкиным выезжала за пределы Санкт-Петербурга, в воздухе произошел загадочный процесс с участием сильного ветра, воды и легкого морозца, и первый снег закружил над еще не остывшей землею. Пушкин, грустя, извлек из саквояжа дорожный бювар и, от качания с тряской перемазав пальцы чернилами, нацарапал несколько строф. Предполагал ли, что станут они бессмертными? Бог весть! И Бог весть, что у них, у поэтов, вообще бывает на уме в такие миги.

Буря мглою небо кроет,

Вихри снежные крутя.
То звезду в сугроб зароет,
То луну, на свет летя.
На Руси, где год от года
Гуще горестей гурьба,
Как спесивица-погода,
Переменчива судьба.
Только радуга-надежда
Семицветье развернёт —
Тут же сволочь и невежда
Над державой верх берёт.
Но пускай не быть счастливым
Здесь Господь тебе судил,
Оставайся терпеливым,
Сколько сердцу хватит сил!
Не кидайся с бурей слиться,
Довершив собой ряды
Всякой нечисти, что тщится
Выжать горе из беды.
Будь ты сам себе опорой
На заре и склоне лет —
Всем держать придется скоро
Перед Богом-то ответ.

Я вас любил

Памятно жарким летом 1827 года, а именно 16 июня, Иван Александрович Керн, гвардии полковник, участник Бородинского сражения и блестящий офицер, доживавший свой служебный век в Одесском гарнизоне, прошел из кабинета сквозь сияющую анфиладу в будуар к супруге своей Анне Петровне и бодрым голосом спросил:

– А как вы посмотрите, Анхен, на то, ежели я направлю приглашение юному Пушкину, не Левушке, а Саше, стихотворцу? Он давеча как раз прибыл в Одессу на поиски саранчи по заданию Академии наук...

Анна Петровна, красавица в некоторых летах, но изумительно свежая и признанная душою одесского бомонда, сохранила невозмутимость в лице, однако с тревогой почувствовала, как сердечко ее затрепетало, и оттого невольно ухватила себя за ключицу холеными пальчиками, уронив напудренную пуховку в подол.

– Ничего не имею против, мон шер, когда тебе это будет приятно, – сказала она с отчетливой прохладцей, не кинув ни тени фальши на тон своего экстатически прекрасного грудного голоса.

– А? Ну, добро, добро... – рассеянно пробормотал Иван Александрович и повернулся, чтобы отдать распоряжения человеку.

Бал, по обычаю устраивавшийся Кернами, пользовался отменной репутацией, и совершенно справедливо: здесь четырежды в год собирались самые сливки одесского света и, помимо всяческих сюрпризов и невинных забав, происходила ярмарка невест высочайшего полета. Но Бог с ним, с этим балом! До него мы еще доберемся. А отчего же, спросите вы, встревожилось сердечко Анны Петровны, при вести о юном стихотворце Пушкине? Этот же вопрос занимал теперь и самое Анну Петровну. «Ужели не иссякло во мне то чувство, помстившееся мимолетным, что вспыхнуло три года назад на новогоднем вечере у московского полицмейстера Плевако? – Думала она. – Ужели я, столь опытная, прямо сказать, стреляная в амурных делах воробыца, попалась на крючок этому казановистому арапчонку Пушкину?»

Увы, увы! Да ведь вне всякого сомнения так оно и было! Весь день провела Анна Петровна, будто барка контрабандистов в прибрежном тумане, и к вечеру, с приближением бала, поймала себя на том, что при малейшем воспоминании о Пушкине конечности ее холодеют, а на щеках начинает поплясывать лихорадочный румянец.

Меж тем пробил назначенный в приглашениях час, по стенам и в люстрах запылали все свечи, и Анна Петровна с застывшей на коралловых устах дежурной улыбкой обок с балагурившим невпопад Иваном Александровичем вышла встречать мало помалу съезжавшихся гостей.

Но, хотя хозяйка и не подавала виду, хотя и отвечала

что-то обращавшимся к ней знакомцам и ободряла улыбкою только что представляемых ей незнакомцев, все лица в ее огромных глазах, подобных зацветшим омутам среднерусским, перепутались и слились, а на место сего растущего кома то и дело упрямо подставлялся обрамленный кудрявыми баками лик страстного мальчика Саши. Алые уста его дрожали в предвкушении бурных ласк, а темные глаза метали жгучие сполохи африканской безудержной страсти.

Однако бал уже начался и разгорался обыкновенным чередом, а Пушкина все не было. Анна Петровна не знала, что делать и куда деваться, поскольку неясное томление уж душило ее постепенной змеиной хваткой, а выдать своих мук на людях не позволяли гордость и страх перед людскими толками. И все же один раз она едва себя не разоблачила, с большим трудом сдержав раздражение, внезапно закипевшее и едва не выплеснувшееся из нее на молодого пехотного капитана, когда тот с любезной настойчивостью вздумал выпрашивать у нее очередную мазурку.

Анна Петровна давно бы сказала, занемогшей и удалась, но – в том-то и заключался безвыходный ужас создавшегося положения! – не в силах была расстаться с надеждой на то, что Пушкин явится с минуты на минуту.

В этой попытке провела она без малого два часа. И вот, наконец, мажордом, с мелькнувшей у него за спиной, как показалось Анне Петровне, парой кремовых крыльев, ударил жезлом по порогу и напыщенно провозгласил:

– Граф Александр Сергеевич Пушкин!

Потом умолк на мгновение, словно поперхнулся, и вдруг, выкатив глаза, добавил:

– И мещанка Авдотья Семеновна Лихина с ними...

Мажордом растворился в проеме, и в бальную залу впорхнул Пушкин. Сам-то он был вполне комильфо, но дама, тащившаяся под руку с ним, хотя, впрочем, и смазливая весьма, выглядела ужасно! Что за прическа! Какой-то пыльный съехавший на бок тупей и по два локона справа и слева вдобавок! Что за платье! Мало того, что скандально декольтированное, мало того, что пошитое из какого-то неприлично-го травяного атласа, так ведь еще и украшенное невообразимыми в этом сезоне голубыми и белыми рюшами, пущенными по рукавам и подолу!

Анне Петровне на миг показалось, что она теряет сознание, но звонкий голос возникшего подле Ивана Александровича привел ее в ясное чувство, заодно рассеяв нависшую в зале зловещую тишину:

– Александр Сергеевич! Насилу тебя дождались! Ты, брат, как всегда, не без экивока! Каналья эдакий! Все б тебе публику смешить?

– Отчего же смешить, Иван Александрович? – приняв троекратное лобзание хозяина, отвечал Пушкин с блуждающей на губах лукавой улыбкой. – Позвольте представить: Авдотья Семеновна, мой добрый друг и поверенная в сердечных делах. Вчера имел удовольствие познакомиться с ней

в чайной у Шлиппенбаха.

Авдотья Семеновна, очевидно подученная Пушкиным, смущенно потупилась, кокетливо замахав ресницами, и сделала чудовищный книксен, едва не свалившись при этом на спину.

Анна Петровна, как замороженная, протянула Пушкину вялую руку, но ощутив демонстративную нежность, с какою он к ней приложился, тотчас ее грубовато выдернула и зло прищурила глаза.

Однако же бал продолжался. Пушкин выглядел безмятежно веселым и, пропуская в себя каждый подвернувшийся бокал шампанского, не пропускал ни одного танца, громко хохоча над своей Авдотьей Семеновной, безбожно путавшей фигуры и спотыкавшейся на каждом шагу.

– Что скажешь, милая Анхен, – утирая выжатую смехом слезу, спросил Иван Александрович, – не правда ли, премильный озорник, этот Саша? Ничуть не жалею, что его пригласил...

На счастье Анны Петровны, он не глядел на нее в сей миг, а то бы прочел в ее дивных глазах гнев и страдание, не объяснимые ничем, кроме поруганных чувств и обманутого любовного ожидания. И опять-таки, она удалилась бы, сказавшись на головную боль, но боялась произнести хоть слово, столь сильны были переполнявшие ее чувства, – лишь улыбалась годами затверженной улыбкой, позволявшей любую истину похоронить глубоко в душе. Она уж не видела во-

круг никого и ничего, не замечала ни супруга своего, ни новых бессовестных выходов Пушкина, поскольку одна и была у ней забота – не дать воли подступившим к горлу слезам.

Меж тем, минул час, и другой, и третий. Гости потихоньку разъезжались, и когда в очередном танце по залу закружилось всего несколько пар, Иван Александрович протяжно зевнул под перчаткой и, чмокнув Анну Петровну в щечку, с извинениями отправился на покой.

Анна Петровна, в свою очередь решив, что теперь уж и ей прилично будет покинуть гостей, не прощаясь, повернулась и величавой поступью направилась в спальню.

Вот тут-то и подскочил к ней Пушкин. Скандальная Авдотья Семеновна куда-то безвозвратно исчезла от него, и в лице Александра Сергеевича произошла изумительная перемена. Анна Петровна вздрогнула, когда он незаметно сжал ее руку сухими перстами и сунул в нее вчетверо сложенный листок. Пред нею был все тот же страстно влюбленный в нее юноша-поэт, встревоженный возможным отказом и по самую кудрявую макушку переполненный нерастраченной нежностью.

– Анна Петровна! Любовь моя неизменна. С сим и жду вас тотчас в оранжерее до тех пор, пока не изволите прийти или не велите прогнать взашей, – прошептал он чуть слышно, но слова его громом потрясли ее отчаявшееся сердце.

Надо ли говорить, что свидание в оранжерее, залитой лунным светом, состоялось и было бурным, как черное море

в девятибальный шторм. Анна Петровна рыдала от страсти, когда Пушкин принудил ее стать на четвереньки и уткнуться лицом в белоснежные розы, напитанные чистой росой. Он и сам какое-то время стenal и выл, как могут стенать и выть лишь влюбленные поэты, раскопав в обильных юбках и кружевах наипышнейшие прелести Анны Петровны и прильнув к ним своим разгоряченным проворным торсом.

А что же нам, не бывшим там потомкам, осталось от памятной ночи? Всего лишь тот самый листок, упавший из рук пылкой пушкинской пассии и забытый ею под влажным кустом. Вот он, свернутый вчетверо. Развернув, прочитаем.

Я вас любил. Любовь еще быть может...

А может быть, уже не может быть.

Сомнение порою крепче гложет,

Чем жажда старой страсти изменить.

Положишь глаз на фею молодую —

И кажется, что поперёк оси,

Сломав на втулках корку ледяную,

Хоть всех святых с орбиты выноси,

Вращается весь мир, куда попало,

С дремучими лесами на отлёт,

И посреди замедленного бала

Она одна вписалась в поворот...

Но разве тем от прошлого восторга,

Обратный путь отчаянно закрыв,

Нас отделяет с холодностью морга

Бесповоротный глинистый обрыв?

И разве память скорбно онемела
И судорогой сердце сведено,
Чуть юность алытом трепетным отпела
Былой любви креплёное вино?

Кавказ подо мною

Так и не отыскав саранчи ни в Бесарабии, ни в Одессе, ни в калмыцких унылых пустошах, Пушкин продвигался все далее на юг-юго-восток. Но вовсе не любопытство естествоиспытателя, как могло показаться неискушенному в пушкинских повадках прохожему, подгоняло его в дорогу. Или, если и любопытство, если и естествоиспытателя, то уж во всяком случае испытывающего естество каким-то особенным способом и с непонятного науке боку. В доказательство достаточно перелистать томик стихов Александра Сергеевича. Там, ежели поглядеть свежим глазом, непременно натыкаешься на изящную элегию, рожденную именно в ту нелегкую пору. Вот она, извольте. Чтоб вам не тратиться на поиски.

Прощай, любезная калмычка,
Слезинки грязные утри.
Моя помчится дальше бричка...
Пусти штанину, не дури!
Да, ты по-своему красива
И соблазнительна, а всё ж
Совсем иная перспектива
Тебе положена. Ты ждёшь,
Что позабыв происхождение
И кофе с трубкой по утрам,
Я разделю твоё влечение

К колючкам пыльным и пескам?
Напрасно, милая дикарка!
Твой час когда-нибудь пробьёт —
Джигит тебя полюбит жарко
И поперёк седла швырнёт.
В свою потёртую кибитку
Свезя насильно, как овцу,
В твою иголку вденет нитку,
Невинность приведя к концу.
Глядишь, в кибитке разведутся —
Потом, со временем, не враз —
Мальцы с мордашками, как блюда,
И щёлками наместо глаз.
А я... Что по себе оставлю,
Помимо гробовой трухи?
Тебя ли разве что прославлю,
Вот эти посвятив стихи
Твоим грудям тугим и ляжкам,
И тайным искоркам в глазах,
И тем бесчисленным поблажкам,
Что несмотря на стыд и страх...
Но полно, тут я умолкаю,
Прости, голубушка, прощай
И всё, что ныне предрекаю,
Приять смиренно обещаю.

Итак, засим, простившись с соблазнительной калмычкой, пересек удрученный своим изгнанием Александр Сергеевич бескрайние степи и не особенно вскоре, но все ж таки не че-

рез до бесконечности долгий срок заехал в края, откуда виднеется невероятная в своей страшной красе кавказская гряда.

И точно, горы Пушкина едва ли не напугали, буквально придавив к почве возвышенным совершенством, увенчанным шапками вечных снегов. Так что он даже онемел, в смысле стихотворчества, на неопределенное время и оттого безнадежно впал в некий пароксизм тоски и самокопания, наподобие аглицкого сплина.

Меж тем несущая поэта бричка постепенно пошла в гору, медленно, но неизбежно приближая его к русской крепости Кудук-хала близ Железноводска. В пятидесяти верстах от этой последней ввиду чеченской границы цитадели славного нашего воинства пришлось ему пересест в трясую арбу, доверившись белобоким волам с пологими рогами местного происхождения. Волы свою службу знали, и лучше них здесь не было силы, способной тащить любые грузы по ленточке опасной горной дороги.

Полсотни верст по перевалам – не то, что по ровному месту: в час не переедешь. И Пушкин, ерзая задом по скудной соломе, ничуть не повеселел за время этого пути, то утыкаясь носом в отвесную скалу, то с оторопью ахая над пропастью, грозившей затянуть его вместе с арбой и волами в бездонную свою глубину.

Однако, стоило показаться из-за хребта бастионам Кудук-халы, как сделалось легче на сердце: там ждала его

встреча со старыми знакомцами, сулившая наверняка приятные минуты, каковыми не может не отличаться время, проводимое добрыми русскими людьми в застолье и теплых дружеских беседах.

И предчувствие не обмануло поэта. У самых ворот крепости встретил его бывший некогда флигель-адъютантом самого генерал-аншефа Маевского, но за острый язык сосланный сюда с разжалованьем до капитанского чина Петр Петрович Хламидов. Человеком он слыл несколько заносчивым, но Пушкина, с коим познакомился и встречался в Москве и Петербурге, привечал, чтобы не сказать любил как родного.

– Александр Сергеич, наконец-то! Поверишь ли, с утра тебя дожидаюсь! – с неподдельной радостью выдохнул Хламидов и заключил Пушкина в крепкие солдатские объятия. – Пойдем, брат, скорее. Все уж для тебя приготовили – и стол, и постель, и помыться с дороги.

Не успел Пушкин и слово вымолвить в ответ, как откуда-то налетел на него невеликого росту лысоватый господин в сапогах на босую ногу. Подбегая, он успел на ходу запахнуть мундир, но позабыл о цветастых помочах, свисавших из-под оногo и тем непоправимо выдававших рассеянность своего хозяина. По бокам его аккуратной лысины развевались незачесанные соль с перцем пряди, и уже по ним одним можно было узнать в забавном господине подполковника Василия Семеновича Арестова. Вот уж был по обще-

му признанию замечательный человек! Знатный специалист по флешам, редутам, форсам и контрфорсам и всяческим прочим полевым и крепостным укреплениям, Василий Семенович отличался приветливостью, подкупавшей всех его знакомых.

– Саша! Родной ты мой человек! – поборов одышку, кричал он, хлопая Пушкина по плечам и спине. – А что бы загодя-то, загодя-то сообщить! Только третьего дня вестовой письмецо твое доставил. А то бы мы бычка завалили!

– Пустяки, Василий Семенович, – не без слезы усмехнулся Пушкин. – Корочку хлеба да плошку воды, а более мне, опальному, и не положено!

– Не-по-ло-же-но?! – возопил Арестов, совершенно всерьез приняв пушкинский сарказм. – Это что еще за выдумки, не положено? Мы тут, брат ты мой, от начальства далеко, так не изволь беспокоиться, напоим и накормим так, что до постели без подмоги не дойдешь!

Вскоре, помывшись и испив целебной водицы, прославившей здешние места на всю Россию, Пушкин убедился в том, что Василий Семенович не шутил по поводу крепостной хлебосольности. Наевшегося, что называется, от пуза, его повели в экскурсию по всем кудук-халинским достопримечательностям. Показывали с гордостью все, что ни попадало на глаза, – и склад с провиантом, и лошадей с собаками, и чеченских девок, усердно занимавшихся ковроткачеством в особом сарае.

– Это как же? – изумился Пушкин, отлично знавший чеченские ревнивые обычаи обращения с женским полом. – Откуда вы разжились этими красавицами?

– А это, Саша, наше новое оружие, – с наслаждением пощипывая сивый ус, разъяснил Арестов. – В генералитете, вишь, изобрели – и тотчас нам секретный приказ: при каждой удобной okazji красть у чечни баб и девок.

– Так ведь они же... Для них же...

– Именно, брат! Позор несмываемый. Так через это мы и ожидаем, что в отчаянии чеченцы со дня на день с переговорами к нам придут, миру запросят. А мы им, вестимо, наши кондиции: соблюдайте, мол, и живите со своими бабами покойно...

– Ну и дела! – поводит Пушкин носом, а глаза между тем скосил на примеченную им в толпе ткачих особенно хорошенькую чеченку.

День этот за всеми хлопотами и толпою новых впечатлений быстро завернул к закату. Как и бывает в горах, темнота спустилась незапно, так что Пушкин, отвлеченный к тому же довольно шумным пиршеством, сумерек и не заметил.

Все уж изрядно, по-русски говоря, назюсюкались, Хлами-дов откуда-то притащил гитару с гвардейским этаким бантом, и в свежем высокогорном воздухе звонко разлился романтический струнный перебор. Тут же поднял хмельную голову поручик Охлобыстин, слывший здешним Фаринелли, о чем Арестов горячо прошептал Пушкину на ухо, – и по-

верх струнного звона раскатился его волнующий тенор: «Ой, да не вечер, да не ве-ечер!»

– Пойдем, Саша, до ветру, – пробормотал Василий Семенович и подцепил Пушкина под локоток.

С хохотом и прибаутками помочились они с самого высокого бастиона. И тут Арестов неожиданно подтолкнул Пушкина в бок:

– А что, брат? По-прежнему ли ты охоч до женского полу?

– Не жалуюсь, Василий Семенович, – пробормотал тот. – Да к чему ты спрашиваешь?

– А к тому, брат, что давеча, я заметил, ты глаз-то на одну чеченочку положил.

– Да полно вам шутики шутить! – увернулся было в смущении Пушкин.

– Положил, положил! Не отпирайся! – настаивал Арестов и снова, хохотнув, подтолкнул его в бок. – Так ведь это можно устроить!

– Не совестно вам, Василий Семенович! За кого вы меня принимаете? Как могли вы хотя на минуту допустить, что честь моя мне позволит девушку силой взять, на правах, так сказать, победителя?

– Нет, это ты меня обижаешь, Александр Сергеевич! – надулся Арестов. – разве ж я говорил, силою?

– А то как же?

– А так... Я к тебе ее вызову. Ты у ней согласия испроси, как благородному человеку подобает. И уж если не согласит-

ся, пеняй, брат, на себя! Не такой уж ты, значит, гений русской словесности, как молва о тебе говорит.

— Ну, если так, — улыбнулся Пушкин, — то изволь, я согласен. Да только понимает ли она по-русски?

— Десятка полтора слов знает... Но ведь на то ты гений, чтобы и двумя словами в чувствах своих девицу убедить!

Нечего и добавит к этой истории, поскольку об остальном не сохранилось достоверных свидетельств. Однако известно, что после того и до конца своей долгой жизни Василий Семенович непререкаемо чтит Пушкина как наипервейшее светило словесности российской, что и завещал своим детям и внукам вместе с полным собранием сочинений Александра Сергеевича издания сорок второго года, с золотым обрезом и в телячьей коже с богатейшей инкрустацией. А сам Пушкин по прошествии волшебной ночи, послужившей прекрасным довершением доброго дня, совершенно прибодрился и встретил рассвет следующего утра, стоя в одном исподнем на том самом, высочайшем, бастионе Кудук-халы, с коего в полночной тьме справляли они с Арестовым малую нужду, и с только что исписанного им клочка бумаги оглашал изумленные кавказские горы и доли бессмертными строками:

— Кавказ подо мною, Кавказ надо мной...

Весь мир от Кавказа лежит до Кавказа.
Свобода, небесного свода зараза,
Царит сокровенно в юдоли земной.

Орёл ли, Кура ли, морская ль волна,
Горянка ль с кувшином сбегает по склону —
Бескрайняя воля мне всюду видна,
Конец и граница любому закону.

И даже, скалу растопырив, кристалл
Свободен в своём проявлении верховном,
И солнце в его полыхании ровном
И жарком, покуда ледник не настал.

И звёзды иные, столпившись в туман
Для нашего влажного смертного глаза,
Хотя под собой и не чуют Кавказа,
В неволе орбит прозревают обман.

Песнь о Вещем Олеге

Дорога, находишь она не на высоте полутора верст над уровнем моря, где не оставалось почти ни пылинки, была бы размывта непрестанным ливнем в обычную для России непролазную кашу. А так, об эту пору, которую странно было называть зимней, лишь красная глина, кое-где выступавшая на поверхность по не известным Пушкину геологическим причинам, препятствовала движению коварною скользкостью своею. А двигался Александр Сергеевич, покорный так и не исполненному заданию Академии наук, в погоне за призрачной саранчой все дальше на юг, полагая через несколько дней достичь сказочно-богатого города Тифлиса. О нем он и прежде слышал много заманчивых рассказов и рассчитывал подольше побыть в этом чудесном месте с его шумными базарами, серными банями, чаем, вином, обилием христианских храмов и прочей небесной красоты.

Однако же дурная погода, застигшая его в пути и не желавшая отставать уже третий день, рождала в сердце тоску и покушалась на вдохновение, все-таки не оставлявшее Пушкина. Он как раз сочинял историческую песнь об одном из древнерусских князей Олеге по прозвищу Вещий. Прозвище оное Пушкину никогда не было до конца понятно. Вот и теперь, с остервенением вгрызаясь в и так разлохмаченное перо, ломал он голову над тем, от какого слова оно происхо-

дило: «весть» или «вещь»? И склонялся к тому, что это одно и то же, ибо весть всегда приходит в вещественной форме, и, напротив, всякая вещь в действительности есть весть. Как вдруг его раздумья прервал резкий разворот арбы и гортанная ругань погонщика. Отняв от лица бледную руку, поэт взглянул из-под мокрого куколя на дорогу. Его арба едва не столкнулась с другою, двигавшейся навстречу. Теперь погонщики волов безбожно крыли друг друга, и совершенно не ясно было, каким образом они полагают разъехаться: две арбы сцепились колесами и, как ни крути, проехать им друг мимо друга на этом участке возможно было только с нарушением основополагающих законов – либо евклидовой геометрии, либо ньютоновой механики.

И тут гений Пушкина явил себя в совершенно неожиданной ипостаси, очевидно доказывавшей, что Академия наук могла бы ему поручить и более серьезное дело, нежели погоня за, по-видимому, не существующей саранчой. После пяти минут напряженного соображения он, несмотря на все обстоятельства, весьма досаждавшие и препятствовавшие свободному течению острой инженерной мысли, подобно Архимеду воскликнул «Эврика!» и принялся объяснять изумленным погонщикам словами и знаками, что следует делать.

Когда до темноватых горцев дошло, чего он от них добивается, оба подпрыгнули враз, и каждый при этом хлопнул себя по лбу. Да и как тут было не догадаться! Следовало не разъезжаться, а поменяться арбами, развернуть их, пе-

репрячь волов и перетащить груз с одной арбы на другую и с другой на одну. И ехать себе дальше как ни в чем не бывало!

Так они и поступили. Причем радовались, как дети, находчивости русского барина, отчего и работа спорилась. Пушкин меж тем отошел в сторонку, пытаясь вновь сосредоточиться на своих этимологических изысканиях... И тут он краем глаза приметил, что со встречной-то арбы переносят мертвое тело, не в гробу, а так, в нечистой рогоже. Однако по обшлагам на свесившихся плетьюми руках он сразу угадал в мертвеце русского дворянина.

– Кого ж это вы везете? – воскликнул он с тревогою и приблизился к телу, небрежно кинутому горцами в сырую солому.

Погонщик встречной арбы сразу понял, о чем его спрашивают, но на всякий случай переспросил, коверкая русские слова:

– Эта-та? Эта кого везотэ?

– Да! Это, это! – несколько раздражаясь, подтвердил Пушкин.

– Эта Грибоеда везотэ. Его, барин, пэрсы зарэзалы, а мы тэпэрь везетэ.

– Какого Грибоеда? – испугался Пушкин и, наклонившись к мертвецу, отдернул у него с лица рогожу.

Не сразу, а все ж таки он узнал в заледеневших чертах своего тезку и доброго друга Александра Сергеевича Гри-

боедова, композитора, умницу, автора бессмертной комедии «Горе от ума», бывшего к тому же ловким шпионом и дипломатом, до тонкости знавшим обычаи Востока и наизусть помнившим пятьсот двадцать восемь из сказок тысячи и одной ночи. Пушкин отшатнулся и, закрыв лицо руками, горько зарыдал.

Давно ли, кажется, стоял Грибоедов перед ним в Михайловском, блестя своими знаменитыми очками, вскинув руку с бокалом, и громоподобно вопрошал, изображая своего персонажа Чацкого: «А судьи – кто?»

«Вот такая, стало быть, суждена нам была новая и последняя встреча! – подумал Пушкин, глотая слезы. – Не так ли и мне когда-нибудь предстоит возвращаться с чужбины? Недвижным, холодным, с окостеневшими перстами и заострившимся носом...»

Наверное полчаса, никак не менее, оплакивал он погибшего друга. Но что было делать? Жизнь продолжалась своим чередом: повозка со страшным грузом скрылась за поворотом, и жгучее в первом приступе своем горе постепенно притупилось упав ледяным камнем на дно пушкинской души. К вечеру того прискорбно памятного дня, сидя у огня под крышей бедняцкой сакли и непроизвольно жуя жестковатый чурек, Пушкин завершил начатую давеча песнь о Вещем Олеге, все в ней наново переделав. И выразил в этом величественном творении, как известно, итог собственной борьбы с лютой ненавистью к убийцам Грибоедова.

Как ныне, собирается Вещий Олег
Отмстить неразумным хозарам,
Поскольку считает, что он – человек,
Спускать не умеющий даром,

Спускать не желающий сим подлецам
Их выходок буйных на воле:
Он им не какой-нибудь хлипкий пацан,
Бегущий от крови и боли.

Напялив кольчугу, выводит коня,
За ним поспешает дружина,
И лесом дремучим три ночи и дня
Ведут их с гордыней кручина.

Но раз на рассвете из гуши травы,
Ступая сурово и немо,
Навстречу Олегу выходят волхвы,
Бредущие из Вифлеема.

– Что скажете, старцы? Какая беда,
И в хвост погоняя, и в гриву,
Не знаю откуда, свела вас сюда,
На нашу славянскую ниву? —

Спросил их с усмешкою Вещий Олег,
Согретый воинственным жаром,
И ляпнул вдобавок, что он – человек,

Спускать не умеющий даром.

– Всё ходите, значит, – сказали волхвы
И вскинули бороды смело, —
На вы да на вы, да на вы, да на вы.
Не тошно вам? Не надоело?

А мы вот по морю бескрайних снегов
Идём, как по суше, и знаем:
Блажен, кто возлюбит свирепых врагов.
Мы любим тебя и прощаем.

С тех пор девятнадцатый минул уж век,
А будет ещё девятнадцать.
Доныне собирается Вещий Олег,
Да так и не может собраться.

К Чаадаеву

Пушкин сызмальства был очень дружен с Чаадаевым, о котором стоит рассказать особо. Все знали, что звать его Петром, но – вот ведь какая ерунда – никто в точности не знал тогда и не знает до сих пор, как его по отчеству. Будто назло, и сам Пушкин в переписке называет его то запросто Петрушкой, то Петром Батьковичем.

Еще одно интересное обстоятельство: никому не ведомо и как правильно писать фамилию этого странного человека – чрез одно или чрез два «а». «Что за пустяки? – быть может, скажете вы. – Неужели нельзя поискать насчет него каких-нибудь государственных документов? Был же у него, в конце концов, как и у всякого нормального российского гражданина, паспорт?» Но в том-то и дело, что, судя по всему, паспорта у Петра Чаадаева (или, если угодно, Чадаева и даже Чаадаева) отродясь и до самой кончины не бывало! Не сохранилось и никакой иной казенной бумаги с начертанием его полных имени, отчества и фамилии. Пылится в архивах множество писем его, на русском и немецком языках, адресованных к разным господам и дамам, в том числе и к самому государю-императору, однако письма эти он непременно подписывал либо загадочными инициалами «П. Ч. А. С. Я.», «П. Я. Ч.», «П. И. Ч.» и тому подобными, либо совершенно неразборчивой загогулиной.

Чаадаев (будем называть его так) был тщедушный малый, росточку, прямо сказать, наполеоновского, и амбициями обладал соответствующими, то есть, вопреки своей физике, сильно на вырост. Внешне не отличался он ни особой прелестью, ни тем обаянием, что бывает иногда свойственно и самым уродцам. Красноватый носик Чаадаева, словно турецкая туфелька, загибался промеж близко поставленных глазок с колючими огоньками, подозрительно умно светившими, казалось, из самых заветных глубин его яйцеобразной головы. Руки были непомерно длинные, ноги – напротив, коротковаты. Одевался он всегда с иголочки, но вечно выдавал в себе недостаток хорошего вкуса – то замотает шею платком из какой-то лапчатой тафты, то к зеленому сюртуку натянет розоватые панталоны в серую полоску.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.